

Елена Катишонок

ПРОТИВ
часовой стрелки

роман

Самое время!

Елена Катишонок

Против часовой стрелки

«WebKniga»

2011

Катишонок Е. А.

Против часовой стрелки / Е. А. Катишонок — «WebKniga»,
2011 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-0962-9

Один из главных «героев» романа – время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму... Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? – Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет. Единственный способ остановить мгновение – запомнить его и передать эту память человеку другого времени, нового поколения. Книга продолжает историю семьи Ивановых – детей тех самых стариков, о которых рассказывалось в первой книге автора («Жили-были старик со старухой»).

ISBN 978-5-9691-0962-9

© Катишонок Е. А., 2011

© WebKniga, 2011

Содержание

1	5
2	9
3	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Елена Катишонок

Против часовой стрелки

*А мы вчерашние и ничего не знаем,
потому что наши дни на земле тень.*

Книга Иова, 8

*Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспомоществе ночная песнь поется.*

Осип Мандельштам

1

Автобус остановился, развернувшись перед высоким современным зданием. Шофер выключил мотор, и, несмотря на людской гул, стало тихо.

Наверное, ее нерешительность была заметна, потому что какой-то военный улыбнулся и громко сказал: «Конечная, бабушка! Дальше не поедем». Ишь, внучок, улыбнулась она, провожая взглядом высокую стройную фигуру, но улыбнулась без всякого ехидства, а просто и ласково, как и полагается бабушке. Да иначе ее никак и нельзя было назвать. Старость сэкономила на морщинах, зато не пожалела седины и уже примеривалась к прямой спине. И все-таки это была не старушка: несмотря на преклонный возраст, в ней не было старушечьей шамкающей ветхости. Не было и высокомерной жесткости, отличающей старух; одним словом, бабушка, свидетельством чему были четверо взрослых внуков и двое правнуков. Именно бабушка, в аккуратном повязанном шелковом платочке и вязаной кофте поверх летнего платья: пар костей не ломит, – но в элегантных, любящих ногу туфлях, которые были сделаны в Бразилии, а не на местной фабрике «1-е Мая».

И лицо, готовое к улыбке.

Пусть выйдут, решила бабушка, не давиться же в дверях. Водитель уже стоял снаружи, с наслаждением затягиваясь сигаретой, а из дверей, точно фарш из мясорубки, продолжали вываливаться люди.

Сойдя на тротуар, она повернулась было к шоферу, но тот даже не дослушал вопрос, а просто кивнул в сторону здания и, выдохнув к небу дым, пояснил: «Это и есть восьмая, других больниц тут нету».

Один за другим люди входили в стеклянню-голубую громаду. Куда люди, туда и я, решила бабушка, твердо помня про язык, который до Киева доведет. Остановилась у диванчика перевести дух: ноги не очень верили, что доведет. Присела. Надела очки, практически бесполезные, но в них чувствовала себя уверенней; и действительно, довольно скоро нашла в сумке таблетки «от сердца». Аккуратно вытряхнула на ладонь крохотное гладкое зернышко. Двадцать минут на трамвае до центра, поиски нужного автобуса в очумевшей толпе, да сколько времени внутри, пока он тронулся, а потом гнал в такую даль, где сроду не бывала. Слава Богу, не девочка: восемьдесят пять в апреле стукнуло, а сейчас июнь на исходе, самая жара.

Рядом на столике стоял графин с водой и толстым перевернутым граненым стаканом. Хотя таблетка легко проскользнула в горло, очень хотелось пить, особенно после душного автобуса. Но из *этого* стакана?!

Когда перед глазами перестали плавать серые червячки, бабушка подошла к широкому окну с надписью «ИНФОРМАЦИЯ», где висел большой календарь, напоминающий крупными

черными цифрами, что на дворе 25-е июня 1986 года. Девушка посмотрела вопросительно и, услышав фамилию, зашелестела страницами толстого гроссбуха. Бабушка озадаченно смотрела на склоненную двухцветную голову: из черных волос там и сям торчали оранжевые завитки. Казалось, голова вот-вот загорится. Красить не умеет, пожалела она бедняжку, это же курам на смех. Бедняжка прихлопнула ладонью страницу и подняла лицо:

– Шестнадцатый этаж, лифт номер два.

Бабушка не двинулась. Лицо у нее было растерянное, и дежурная повторила, а потом громко, словно разговаривая с глухой, спросила: «Найдете сами, бабушка? Подождите, я вам напишу», – и протянула шершавый квадратик бумаги.

Бабушка поблагодарила и отошла, неся бумажку прямо перед собой. Ничего, кроме неясных пятен, – что в очках, что без очков – она все равно рассмотреть на ней не могла. Шестнадцатый этаж, сказала эта пеструшка; сколько же всего этажей?! В поисках лифта двинулась вперед по светлому коридору, который изнутри совсем не выглядел стеклянным. Сама больница тоже не была похожа ни на одну из ей известных: ни на дальнюю и давнюю ростовскую, где она едва не сторела от смертельного тифа, ни на ближнюю, печально знакомую из-за покойного отца, а затем и матери, Царствие им Небесное.

Коридор уперся в широкое окно. У правой стенки жались люди и нерешительно смотрели вверх, точно ожидая дождя. Бабушка невольно подняла голову. Прямо в стене мелькала широкая красная стрелка, потом появилась зеленая, и стенка бесшумно раздвинулась. Опустив головы, все ринулись в лифт, и она тоже как-то оказалась внутри, крепко сжимая в пальцах путеводную бумажку.

Лифт шел быстро, часто останавливаясь, и внутри становилось просторно, но люди по-прежнему смотрели вверх, где над дверью мигали лампочки. «Пятнадцатый нажмите, мне пятнадцатый», – забеспокоился сзади женский голос, и лифт, точно услышав, остановился. «А мне шестнадцатый», – попросила бабушка и так, держа в руке шпаргалку, почти сразу шагнула в коридор.

Здесь было точно так же, как внизу, только светлее. Блестящий пол, а вдоль стен просторного коридора почему-то тянулись красивые отполированные перила. Все было обшито светлым деревом, и солидные двери с номерами напоминали скорее гостиницу. Все время казалось, что вот-вот выбежит внучка. Конечно, изумится, обрадуется, перепугается: «Ты одна, в такую даль?! Зачем?..» Она переводила выжидательный взгляд с одной двери на другую, но когда они бесшумно открывались, то выходили совсем чужие люди, одетые кто в пижаму, кто в халат – все яркое, неодинаковое. Некоторые прогуливались, придерживаясь рукой за перила. Только белые фигуры медсестер то здесь, то там быстро пересекали коридор, будто мелом очерчивали.

Леля не появлялась.

Дура старая, обругала она себя с досадой. Разве в больницу кладут, чтоб человек по коридору шастал? Она вылечиться должна; с головой не шутят.

Больше тридцати лет прошло с того дня, как она сама проснулась утром на казенной кровати. По стене быстрыми толчками двигалась муха. Резко остановилась и замерла, а потом начала азартно потирать передние лапки, точно рукава засучивала. Прогнать бы нахалку, но обе руки были крепко примотаны бинтами к железной раме кровати, и каждое усилие отзывалось болью в голове. Лелька тогда пятилетней была. Мало что помнилось, только высокий свод потолка, тугая шершавость бинтов на запястьях да муха на серой стенке. Боль и то забывается. Сестра рассказывала, как они с матерью проводывали ее, приводили внучку, однако сама этого не помнила. Подумать только, всего и запомнилось, что муха, досадовала она. А теперь все поменялось: стенки вон какие светлые, кругом чистота – мухи сюда и дороги не знают... Больница – загляденье, и в этой больнице что-то делают с ее внучкой, которую не спасли от головной боли даже состриженные волосы.

Бесшумно распахнулась огромная, до потолка, двойная дверь, похожая на детскую распашонку. Оттуда, досмеиваясь, выбежала девушка в белом халате и, сразу сделав серьезное лицо, деловито протопала к столу с горящей лампой. Когда она села, накрахмаленные полы халатика чуть разошлись, как крылышки.

– Вы кого-то ждете?

Выслушав ответ, кивнула:

– Она в реанимации.

– Мне внизу сказали, что здесь, на шестнадцатом, – бабушка протянула бумажный лоскуток.

– Это здесь, – терпеливо пояснила та, – только в реанимацию посетители не допускаются.

– Интересно, почему? – встрял мужчина в махровом халате. – Вон в Америке кого угодно в реанимацию пускают!

– Мы не в Америке, – строго бросила ему девушка и, повернувшись к собеседнице, продолжала, – вот переведут вашу дочку в палату, тогда приходите.

Нужно было поправить: не дочку, а внучку, и спросить, что такое реанимация, но она не могла решить, с чего начать, а руки и ноги стали вдруг очень тяжелыми. Наверное, это было заметно, потому что крылатая барышня вскочила и сама подвела ее к стулу:

– Вы сядьте, бабушка, – но не отошла сразу, а ждала, пока она нащупает в сумке таблетки.

Славная какая, растроганно подумала о девушке, которая уже несла ей воду. Отдышавшись, хотела поблагодарить, но не получилось; только выговорила:

– Как она себя чувствует?

Девушка взглянула укоризненно:

– Ну как может человек себя чувствовать после *такой* операции?

И стало не нужно узнавать про эту реанимацию: сердце подскочило к самому горлу, и она закашлялась, точно оно не давало дышать; да так и было. Опять растопырились полы халатика: сестричка переполошилась, и бабушка, откашлявшись, замахала руками: не надо никакого доктора звать, Боже сохрани. Нашелся и корвалол; она выпила пахучую гадость и теперь сидела, с наслаждением глотая воду.

Напротив стола с лампой висели круглые часы с такими крупными цифрами, что она без труда их различала. Часы обладали пугающей особенностью: было видно, как движутся стрелки. Самая тонкая плыла тяжело и непрерывно, как в масле, а минутная, вздрогнув, с громким щелчком перескакивала на следующую отметку. От этого казалось, что время идет очень быстро, вот и еще минута проскочила. С трудом отведя глаза, бабушка подумала, что такие часы хороши для больницы: каждая уходящая минута уносила Лелькину болезнь.

Она не стала спрашивать у отзывчивой сестрички, чем внучка больна и скоро ли ее отпустят – пусть вылечат хорошенько, зря держать не станут, да и часы подгоняют, – поднялась осторожно (ноги держали), поблагодарила и направилась к лифту. Девушка догнала: «Я провожу вас, бабушка», – а пока ждали лифт, спросила: «Сколько вам лет?» В ответ недоверчиво протянула: «Да ну!.. Нет, вы моложе выглядите!» И хотя было очевидно, что для двадцатилетней барышни что пятьдесят, что восемьдесят пять – одно и то же, все равно было лестно. Внимательная какая; зря ругают молодежь. Проводила до первого этажа и даже показала, где такси останавливаются, да только такси ей не по карману, о чем ни любезной сестричке, ни шоферу полупустого автобуса, где она удобно устроилась на переднем сиденье, знать было ни к чему.

Вот и съездила, бабушка, говорила она самой себе. Афера, чистая афера. Вчера, случайно услышав, как внучкин муж сказал кому-то в телефон: «...Восьмая больница, автобус прямо от памятника Свободы», она еще не знала, что ноги сами приведут сегодня к этому автобусу, и она будет трястись через весь город, а потом вознесется на шестнадцатый этаж, где будет смотреть на зловещие часы, услышит непонятное слово «реанимация» для того только, чтобы так и не повидаться с внучкой, больной неизвестно чем, но так страшно, что к ней не пускают.

Автобус несся быстро, словно истосковавшись по дороге. За окном, как на экране телевизора, мелькали одинаковые серые дома, июньская щедрая зелень и разноцветные машины. На конечной остановке бабушка опять вышла последней. Потом был трамвай, а когда оказалась дома, что-то произошло, о чем она, как ни старалась, вспомнить не могла. Знала твердо, что комната была залита предзакатным светом, и привычно сняла платок, а потом вдруг увидела матово белеющую подушку рядом. Вторая лежала под головой. Как она очутилась на кровати, даже не переодевшись – только туфли скинула – и сколько времени прошло? На улице горели фонари, и небо от этого было бледно-сиреневым. Включив лампу, поднесла к глазам будильник: десять минут одиннадцатого. Куда делся кусок времени – и жизни, ведь был седьмой час?..

«Натопалась, бабушка», – сказала негромко. Выпить чаю, потом затеплить лампадки – и спать. Встав, включила телевизор, хотя программу «Время» пропустила. Во весь небольшой экран прямо на нее неслась бесцветная дорога, по краям мелькали дома, одинаковые, как вафли из пачки. Такое уже показывали, недавно совсем. Равнодушно повернула рычажок, отправив скучную дорогу мчаться навстречу кому-то другому. Не забыть часы завести. Сначала старый, довоенный еще будильник, давно оглохший и потому разучившийся будить, но исправно стрекочущий время ее жизни. Бабушка бережно повернула его и, придерживая левой ладонью циферблат, начала осторожно крутить тугой металлический бантик, прямо над изогнутой стрелкой и надписью на когда-то привычном немецком языке: «*gegensinnig*». И немецкий забыт, и глаза не видят, да это и не нужно: пальцы привычно крутят маленький железный бантик «к себе». Этот старомодный никелированный будильник, бросающий вызов ходу времени, не казался ей ни смешным, ни нелепым. Потом взяла в руки второй, маленький и изящный, с плоской иглой секундной стрелки, и долго пыталась поймать бессильными глазами движение этой стрелки. Внучка привезла из Ленинграда, когда в командировку ездила. Господи!.. Лелька! Шестнадцатый этаж... И так, с прижатым к груди будильником, опустила на стул.

2

Когда человеку за восемьдесят... Нет, здесь необходимо назвать точную цифру, ибо старики так же ревниво относятся к своему возрасту, как и дети, и так же гордятся каждым прожитым годом. Это пожилые пугаются и конфузливо машут рукой: чур, чур тебя; поспешно уезжают в отпуск или на дачу, чтобы избежать нашествия гостей в день рождения. А если все же скрыться не удастся, то празднуют как-то стыдливо, искоса посматривая друг на друга, и в разговоре молодцевато подтягивают животы, страдающие преступным склерозом талии.

Когда же человеку восемьдесят пять, и он не только не нуждается в палке, но походка его легка, руки не дрожат, и голос звонок, он вправе не только гордиться этой цифрой, но еще и прихвастнуть: мне, дескать, уже восемьдесят шестой пошел... Бабушке тоже не было чуждо такое хвастовство, и если она нечасто щеголяла почтенным своим возрастом, то единственно от недостатка аудитории. В этом своего рода расплата за долгожительство: жизнь становится малолюдной, как загородное шоссе в будни. Знакомые и стареющие, как ее собственное, лица вдруг замирают, больше не меняются и остаются такими в памяти навсегда. Иногда бывает иначе: четыре года назад, когда хоронили брата Мотю, видела не только стянутые вечным холодом черты, но и живое лицо десятилетнего мальчишки, дующего на стакан с кипятком. Уходят родные. За праздничным столом становится просторно, а на кладбище тесно. Все чаще и чаще именно там встречаешь друзей молодости, и в разговоре непременно узнаешь, кого еще не стало.

Умерла сестра; скоро два месяца будет, как умерла. Да только ли сестра, и со смертей ли нужно начинать?

Как посмотреть.

«Илиада» начинается перечнем кораблей, а воспоминания, тем более воспоминания старого человека, живут по законам внезапности, наваливаясь на него в самую неподходящую минуту и захлестывая с головой. Вместе с тем человек, проживший долгую и непростую жизнь, – это тоже эпос, крохотный и в то же время огромный, поэтому его родословная заслуживает описания. Лучше всего сделать это по модели великой книги, где самые эпохальные события очерчены такими скупыми и емкими словами, что непременно отыщется хоть один пассаж, написанный о каждом из нас. Начать уместно, наверное, с тех, кто дал жизнь старой женщине, сидящей с будильником в руке.

Вот родословие ее.

Жил человек именем Григорий в земле Ростовской, на берегу Дона. Григорий взял жену именем Матрона.

И сказал Господь Григорию: встань, возьми жену свою, и поведу я тебя по дороге к захождению солнца, даже до моря западного.

И послушался Григорий, и пошел, и стал жить у моря, где указал ему Господь.

Жена родила ему дочь Ирину, сыновей Автонома и Андрея, дочь Антонину и сына Симеона.

В четырнадцатом году стала война по всей земле и поразила город у моря. И двинулся Григорий со всеми сынами и дочерьми, и пришел в землю отцов своих, откуда вышел он и жена его.

И жили там.

Когда же был голод в земле Ростовской, скорбел Григорий и воззвал к Господу.

И сказал ему Господь: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо спасешься.

Послушался Григорий и вошел в ковчег, и вернулся, и разбил свои шатры у моря, и стал жить.

Ковчегом в каждодневной, неэпической жизни называлась теплушка – битком набитый поезд времен гражданской войны. Все остальное полностью соответствует эпической действительности. Более того, величавая простота и лапидарность фраз ведет, тянет за собой, и, несмотря на то что поменялось время и выросли дети и внуки, невольно хочется продолжать в той же тональности.

Был человек именем Конон, и взял жену именем Ирина, из рода Григория.

Ирина родила дочь Таисию и сына Льва.

Автоном взял в жены Павлу и родил Михаила, Виктора, Нину и Димитрия.

Андрей взял в жены Надежду и родил Геннадия и Людмилу.

Антонину взял в жены человек именем Феодор, и родили Георгия и Татьяну.

Симеон взял себе наложницу из рода шляхетского, именем Ванда, и родила ему Ванда Вячеслава, и Алексия, и Сабину.

Григорию было семьдесят шесть лет жизни, когда он умер.

И Матроне было семьдесят два года жизни, когда она умерла.

...Пожалуй, если перечислить всех потомков рабов Божиих Григория и Матроны, получилось бы достойное колено – одно из немалых колен русских, которых Господь не вывел из земли, где они жили, ибо она стала для них родной. А та, что держит сейчас в руках будильник, бессонно отстукавший три четверти из ее восьмидесяти пяти лет, и есть Ирина, старшая дочь.

Здесь, на этой земле, прожила она свою долгую жизнь, которая, в свою очередь, состояла из нескольких эпох – по числу жизней тех, кого не стало. Эпоха под названием «когда еще папа был жив», «мама», «брат». Хорошо помнилась, несмотря на сизую даль времени, безразмерная общая эпоха по имени «мирное время», но она навсегда скрылась в мареве рыжей дымной пыли. Пыль медленно и неохотно оседала на тусклых рельсах, тянущихся за поездом, и на вагонных стеклах, сквозь которые все труднее было рассмотреть мирное время. Муж, Коля, настоял... Да что настоял!.. – заставил ее с детьми сесть в тот поезд – догонять мирное время, убежать, точно можно было спастись от войны. Тогда порвалась ее жизнь – коварно, предательски, неожиданно, хотя совсем не должна была порваться: рвется, если неправильно скроено, как учила мадам Берг, портниха высокого класса; а ее жизнь была скроена и сшита любовно, радостно и умело.

Порвалась.

Нет, иначе: война порвала.

Такое же время за окном стояло: не то запоздалые сумерки, не то затянувшийся рассвет – белые ночи. Белые ночи – и черные дни: горячие, знойные, как вот сегодня, ослепительно солнечные. Сегодня днем часы отстукивали минуты внучкиной болезни, и только сейчас, из белой ночи, отчетливо стал виден цвет минувшего дня.

Как тогда, ровно сорок пять лет назад.

Ночь так и не сумела стуситься. Душный вагон поезда уносил их все дальше и дальше от дома, где оставались муж, мать с отцом и семья сестры. Город, где она родилась и родила своих детей, уже сменился однообразными летними пейзажами, которые время от времени оживлялись то озерком, то пыльным пришибленным полустанком, то хутором на пригорке. Поезд шел очень медленно, часто останавливался и подолгу терпеливо стоял, пропуская эшелоны с солдатами, – те, напротив, мчались очень быстро, оставляя позади удушливую рыжую пыль. Иногда поезд тормозил, и люди вокруг начинали беспокойно вертеть головами и вскакивать. Машинист бежал вдоль вагонов, крича: «Выходи! Не поеду дальше, бомбят вон!..» – и смотрел в небо, вобрав голову в плечи. Люди подхватывались с мест и бежали в поле, неловко скатываясь с высокой насыпи. Ира тоже было вскочила, сжимая ручку корзины, и... опустилась на сиденье. Не побегу. Судьба так судьба: пусть тут убивают. Что ж я в поле буду лежать?!

В том же поезде она начала мысленно писать Коле письмо. Как все такие воображаемые письма, оно получалось очень ярким, внятным и убедительным. Нашлись единственно правильные слова, чтобы Коля не обиделся и перестал на нее сердиться: ведь они поссорились, первый раз в жизни поругались среди бела дня 25-го июня черного 1941 года, поссорились только потому, что она не хотела без него уезжать! Ни разу до этого они не расставались, а теперь он сам выталкивал их из Города, заставлял ехать неизвестно куда, да еще объяснял, какая это удача, что они могут эвакуироваться!.. То хмурился и даже голос возвысил, чего за ним не водилось сроду, то, напротив, называл ее Ирочкой, милой, послушай меня, родная... Сам неумело складывал толстое одеяло, а на улице ждал грузовик, шофер изнывал от жары, но в дом не заходил, так и сидел в пыльной фуражке за рулем. Ира беспомощно обводила глазами квартиру: солнечные трапеции на полу, икона «Нечаянныя радости», кровать под пикейным покрывалом... подушки надо захватить, на чем спать-то? – и тут же забыла про подушки. В приоткрытую дверь видна была кухонная плита, а на плите кастрюля; пахло супом. Перевела взгляд на икону: нет, как же можно, незнамо куда... Книжная полка темнела провалами, точно рот с выбитыми зубами. Стулья криво отъехали от стола. На комодe стоял будильник, как привык стоять всю их недолгую жизнь, и тикал безмятежно; стрелки показывали половину второго.

Осознать это было невозможно: после войны здесь так же стояли уцелевшие вещи, да что вещи – будильник стоял, будто уверен был, что они вернутся. Теперь он потускнел и даже тикает не так громко, но ведь дождался же! А Коли нет и никогда не будет. Зачем он это затеял?.. Вы должны уехать, пойми, Ира. Береги детей, родная. Тайка, оставь велосипед, не пускай в вагон! Да-да, зимнее бери, кто знает... Да куда я возьму, у меня только две руки?! Сестра вон не едет никуда, мама остается; зачем, Коля, зачем? И – дробный грохот: Левочка выронил из рук ящик с оловянными солдатиками, а Коля улыбается: не играй в войну, сынок; видишь – большие играют. И, повернувшись к ней: как славно, ты в моем любимом платье. Помнишь, мы ездили в Кайзервальд, и ты была в этом платье? Левочка еще тебе мороженое на колени уронил, помнишь? Коля, Коля, какой Кайзервальд, Господи, зачем ты нас прогоняешь?! Вдруг – твердо, даже губу закусил: так надо; потом поймешь. Скорее! Как нарочно, нетерпеливо загудела машина. Слышишь, это за вами. Ну, с Богом! Потянулся к ней, но Ира отпрянула в гневе и досаде, так что он только в волосы успел поцеловать, обнял детей обеими руками одновременно – и торопливо подтолкнул к двери. Ирочка, родная... Вполоборота: там суп на плите, горячий, – и руку протянула: зачем, Коля?! – А зачем война?..

Теперь она сидела, зажата с двух сторон чужими боками в переполненном вагоне, и держала на коленях корзинку. Мать уложила туда дорожную снедь в пергаментной бумаге. Между свертками торчала высокая бутылка с молоком. Хоть бутылка была надежно закрыта фарфоровой крышечкой с резиновой прокладкой, было тревожно, что молоко прольется. Так, механически следя за танцующим в бутылке молоком и время от времени переводя недоуменный взгляд на колени, обтянутые Колиным любимым платьем, писала ему письмо. Карандаши и бумага – добротная, плотная бумага в сиреневую полоску и с малиновым обрезом – были сложены вместе с книгами и постельным бельем, а все вместе втиснуто между детьми на второй полке. Вот приедем, думала Ира, надо сразу сесть, записать – и отослать в тот же день. Так хотелось это сделать, что хоть сейчас начинай; корзинку на пол, что ли? Да только дети уже уснули, не будить же из-за бумаги, а на такой пол лучше не ставить ничего.

Несмотря на то, что ночь так и не состоялась, вагон затих. Спали не только дети, но и взрослые, – или делали вид, что спят. Ира осторожно поправила маленькую подушку у сына под головой. Подушка была с бесхитростным «секретом»: внутри второй наволочки, завернутые в мягкое полотенце, лежали все их деньги, которых должно было хватить хотя бы на полгода скромной жизни. Документы положила на самое дно корзинки – машинально, не думая. Война не стала препятствием для воровства, поэтому бесполезная модная сумочка и дорогие вещи

были оставлены дома: лишний соблазн. А так – подушка и подушка, тем более под головой у ребенка; не украдут.

Украли.

Наверное, все же забылась хоть на час: раз не было ночи, то утром. В тряском, ненастоящем сне снова говорила с Колей, но уже не так, как дома, а – как в письме: ровно, мягко, убедительно. Когда открыла глаза, дети еще сладко спали, – словно войны не было. Она сразу увидела, что подушки у сына под головой нет, и так же сразу поняла, что искать бессмысленно. Сыночек, сыночек! – Живой, слава Богу; и не проснулся даже, когда чужие руки выдернули из-под головы подушку. Все их сбережения, да мать сунула, сердито приговаривая: «Нам-то на кой, бери-бери, у тебя ребята». Увидела, да так явственно, словно не в воображении своем, а воочию, как вор, быстро оглянувшись, удовлетворенно перекладывает деньги во внутренний карман двубортного пиджака. Почему двубортного, почему именно пиджака, откуда она это взяла, неведомо, но видела отчетливо человека, а не деньги, к которым и привыкнуть-то еще не успела за короткое время советской власти. Деньги и деньги, дело наживное; не плакать же из-за них.

А ведь было, что плакала. Бежала с работы, зажав в руке – даже в сумочку положить не хотела – недельное жалованье. В мирное время, когда республика была. Деньги выплачивали аккуратно, вручали в продолговатом конверте. На семью, детей, домашние дела и обязательный маникюр, без которого на чулочной фабрике «Планета» к работе не допускали, оставалось воскресенье, да много ли успеешь за один день?! Спасибо, маникюрша вечером домой приходила, а потом резкая ацетоновая струя вытесняла запах свежeverглаженного пододеяльника. Ненадолго, впрочем: в полшестого уже на ногах, работа начиналась в восемь – и заканчивалась тоже в восемь. Работать Ирине было не привыкать, да только... только жить было некогда. Потому и плакала, торопливым шагом пересекая нарядную эспланаду и не замечая сочувственных и недоуменных лиц. Зачем, зачем мне эти деньги, у меня за прошлую неделю зарплата лежит нетронутая, да мне же тратить их негде и некогда! Мужу, детям не успеваю порадоваться, а по ночам вижу чулки, чулки, потом будильник, но уже наяву. За что, Господи?! За что мне столько денег, и на кой они мне?..

Денег на жизнь хватало, а что работать по двенадцать часов, так и все так работали, не только на фабрике «Планета», привычно думала она, ловко крутя на руке шелковый чулок: нет ли спустившейся петли. Р-раз! – сдернуть за носок и передать направо, где барышня укладывала очередную пару в хрусткую прозрачную упаковку, обезображенную рисунком того же проклятого чулка.

...Сколько раз она вспомнит себя, бегущую в слезах с зажатыми в руке деньгами, когда теплым сентябрьским полднем окажется совсем далеко от древних камней родного города, а именно в Поволжье, в деревне под названием Михайловка, в самом что ни на есть медвежьем углу? Но сначала помытарилась в каком-то поселке под Ярославлем. Запомнился головокружительный запах сена, на котором спали ночью в помещении школы; днем, вместе с другими эвакуированными, сгребали это сено в поле и метали стога. Она отправила домой открытку – шершавую рыжеватую картонку, чтобы Коля не тревожился, а то главное письмо, так хорошо сложившееся в вагоне, написать было негде и, главное, некогда. Тревожно ждали, куда же их направят дальше, а новые пыльные эшелоны доставляли новых измученных беженцев, не смевших распаковать свои пожитки, потому что вот-вот должны были отправиться еще куда-то. Так произошло с Павой, женой старшего брата. Она успела сунуть Ирине несколько кредиток, пока красноармеец подсаживал ее с тремя детьми на подножку. «Куда, куда их?» – «На Урал», – отмахнулся устало. Так расстались с Мотиной женой.

Наде, жене среднего брата, было нелегко: сынишке третий год, а девочка только начала ходить. Договорились не разлучаться, куда б ни послали. Уходя на войну, Андрей просил: «Не оставляй их, сестра. Ты ведь знаешь, какая она». Ирина знала; вернее, ей так казалось, потому что привыкла понимать брата с полуслова, как и он привык во всем полагаться на старшую сестру. Теперь обе держались рядышком, с изумлением вслушиваясь в царящее вокруг разноязычье. Многие даже по-русски говорили иначе, не так, как они; другие словно передразнивали. Оказалось – белорусы. Вавилонское столпотворение, только вместо башни – лохматые стога сена, точно каждый сам себе башню строил.

Принимая очередной поезд, какой-то военный кричал сипло и безнадежно в телефон: «У тебя наряд? А размещать где? У меня тоже наряд! Засунь свой наряд себе в ...! Я что, рожу тебе место?!» До нарядов ли тут, подумалось Ире, но удивиться не успела; Надя закричала: «Едем!»

Так они оказались в С*-ой области, в соседних деревнях.

А тот день и свои слезы по пути домой вспомнит не раз, но вне связи с деньгами, хотя деньги как раз им понадобились довольно скоро. Во-первых, потребовалось за что-то заплатить в сельсовет. Определили их на проживание к некоей Михайлихе, точно мало было одного названия деревни. За проживание, как Ирина предположила, и следовало платить, но почему-то не самой Михайлихе, а в неведомый сельсовет. Хозяйка повела ее в огород и ткнула хворостиной в две грядки с краю: это тебе. Сдвинула платок и, сунув корявый темный палец в ухо, затрясла им быстро-быстро. Завязала платок потуже, покосилась на детей и той же палкой показала на третью грядку: «И тую бери. Весной посодишь что-ничто». – «А как же вы?» – «А что я. Я тебе мешаться не буду, я к сестры пойду жить. Когда надо будет, приду от сестре, заберу что-ничто – и обратно».

Михайлиха была худая скуластая баба, на вид Матрениного возраста, но седины и морщин было больше, чем у матери. Позднее выяснилось случайно, что она Ирина ровесница. Сын ушел на фронт, так же, как и оба племянника. «А муж тоже на фронте?» – «Кабы с голоду не помер восемь лет назад, был бы на фронте; куда ж деться». Больше Ира вопросов не задавала, озабоченная только одним: как бы скрыть недоверие на лице. Она очень хорошо помнила голод в Ростове – тогда, давно, в первую войну; ей четырнадцать было. Но здесь – от голода?! Коля так рассказывал о Советской России, что становилось ясно: лучше страны не бывает, поэтому поверить в голод было просто невозможно.

Пришлось поверить, и намного скорее, чем хотелось бы.

Денег не было, только в кармане помятого пальто нашлась одна тридцатирублевка, скатанная трубочкой. Выкапывали на огороде картошку, варили, пекли; дети получали в школе какой-то суп. Ирина пыталась устроиться на работу, но председатель только мотал головой, озабоченно помаргивая. Часто заходила Михайлиха.

– Ты какую работу-то работала *там, у себя*? – Теперь уже Ирине не показалось: последние два слова, как и прежде, прозвучали недоверчиво.

Ира пожала плечами. А какую она *не* работала? Но разве объяснишь вот так, стоя по другую сторону одолженной тебе грядки, про табачную фабрику, парфюмерный магазин, пекарню, модное ателье, чулочную, будь она проклята, фабрику, с которой она в слезах бежала домой, сжимая в руке деньги, так нужные сейчас!..

– Портниха я.

Михайлиха взглянула удивленно-недоверчиво:

– А хоть бы и портниха – шить-то не с чего; бумазею негде взять.

Перешагнув через грядку, хозяйка привычно зашла в дом и загрохотала на полке какой-то утварью. Она брала в руки то одну, то другую посудину, что-то откладывая в сторону; откуда-то выполз таракан. Тайка шарахнулась с криком.

– Чего ж ты голосишь, милая моя (Михайлиха выговаривала: «милма»), – хозяйка кинула на девочку насмешливый взгляд, – где невеста, там и тараканы. Другая бы спасибо сказала. –

Потом, повернувшись к Ирине: – Ты мне кацавейку, часом, не поправишь? Стрепанная больно, а холода на носу. Если что надо, так я у сестре, – и вышла.

– «К сестры, у сестре, невеста, милма», – передразнила Тайка. В свои двенадцать лет она была строптивой девочкой с хмурым взглядом и обиженно надутыми губами. Передразнила так смешно, что Левочка расхохотался. Потом отложил книгу и спросил:

– Мама, а хлебушка нету?

Не было.

На следующий день Ира снова побежала в контору. Председатель на этот раз встретил ее иначе:

– Нашел я тебе работу: ночной сторожихой пойдешь?

Она возликовала, но все же спросила:

– А куда?

– «Заготзерно», там ночью никого нету. Пойдешь, что ли?

– Пойду! А за какой год?

– Чего?.. – Председатель поднял голову от серой разграфленной бумаги и посмотрел прямо на нее, мелко и часто моргая, точно заикался глазами. Из-за этого странного дефекта невозможно было поймать его взгляд.

Ирина повторила:

– За какой год зерно, за этот или... за прошлый тоже?

Председатель насторожился и заморгал еще чаще:

– Тебе знать незачем, твое дело будет сторожить. Знаешь, где «Заготзерно»? Сегодня в ночь и выходи.

– Найду, – обрадованно схитрила Ирина, – во сколько приходиться?

– Обожди, – он вышел из-за стола, – я сейчас.

Вернулся с двумя плотными мешочками, каждый величиной с буханку:

– Проелись, – произнес без вопроса. – Тут на первое время хватит, только хлеб не пеки, – и сунул, помаргивая, мешочки прямо ей в руки.

Вот и хлебушек, думала Ира, подходя к дому, дай Бог здоровья председателю. В деревне его называли просто Терёхой (а за глаза и Моргатым), но то свои, а для нее он был Терентием Петровичем. Оставалось решить две загадки: почему нельзя печь хлеб и... место работы.

Второе выяснилось, как только дети пришли из школы: не зерно *за какой-то год*, а заготовка этого зерна, для краткости – Заготзерно. Еще раньше заглянула Михайлиха и долго вертела преображенную Ириными руками кацавейку, если эту неуклюжую громоздкую кофту на вате можно было назвать таким разудалым словом. Не было на ней ни затейливого шитья, ни меховой опушки, зато заплат хватало с избытком, а подкладка протерлась в нескольких местах, обнажая темную и жалкую сбившуюся вату, вылезавшую из прорех. Правда, так выглядело это облачение до Ириноного вмешательства, а сейчас, когда Михайлиха требовательно крутит его и перебрасывает с руки на руку, охотно верилось, что, если это и не настоящая кацавейка, то уж в отдаленном родстве с таковой явно состояло. Подкладка, обтерханные рукава и борта были обшиты плотным темным сатином, а из захваченных второпях обрезков шерстяного сукна удалось скроить новый воротник и накладные карманы, так что если прищуриться, уговаривала себя Ира, кофта как кофта.

– Ишь ты, лучше новой! – восхитилась Михайлиха. – То-то бабы мне завидовать будут. А я ребятам молока принесла, да и на затируху хватит. – Она запахнула обновку, хозяйственно погрузив руки в карманы. У дверей оглянулась: – Ты затируху-то знаешь, как делать?

Да уж справлюсь, в Ростове досконально научилась; это не «Заготзерно», молча парировала Ира, а руки уже ловко растирали... нет, *затирали* муку – темную, грубого помола, да слава Богу, что такая есть, – с кипятком. Нашлась луковица и сделала маленькое чудо: запахло супом. Не настоящим, конечно, супом, – во всяком случае, не тем, что остался на плите в день

их отъезда, – так ведь и они уже становились другими... Там, дома, Тайка долго сидела бы с надутыми губами, упрямо отводя взгляд от тарелки. Левочка съел бы лениво несколько ложек бульона, а гущу – ни-ни. Одну бы ложечку той «гущи» сюда, в эту затируху – вот попиروвали бы... Даже забелить нечем. Как нечем? А молоко!.. Хозяйка не поскупилась, принесла полную кринку, так что впервые за долгое время дети наелись. Почти.

Пока Ирина раздумывала, как разумней поступить с драгоценным пшеном из второго мешочка: наварить ли каши или добавлять каждый день в затируху, – в окно легонько стукнули. Поля, соседка.

После того, как Михайлиха триумфально прошествовала по деревне в возрожденной кацавейке, в окошко их домика стучали часто. Чего только не приносили! Из старых брюк ушедшего на фронт мужа требовалось сшить новую юбку для жены; из пропахшего нафталином сарафана той, кого уж давно нет в живых, наоборот, брюки для внука; из огромного и жесткого, как асфальт, драпового пальто... Ирина с сожалением покачала головой: «Не возьмусь. Тут без машины не справиться, а машины у меня нет».

Поля помолчала, чуть прищурившись, будто решая про себя, продолжать или уходить.

– Ну а если, – она сделала паузу, – а если будет машина... Ты с машиной-то... Не спортишь?

У Иры чуть дрогнули уголки губ:

– Не спорчу.

– Пойдем, – гостя решительно водрузила драповый монумент на лавку и вышла первой.

По пути рассказала, что картошки в этом году полно, гороху тоже. А ты в «Заготзерне» вроде? Смотри, чтоб Тереха твои трудодни не проморгал.

– Убогий он, – вставила Ира, идя следом.

– Убо-о-гий!.. Зато на фронт не попал. Как же: «убогий». Так и просидит всю войну у бабьих юбок.

– Он не женатый разве?

– Был женатый, а теперь вдовееет. Девятый год пошел.

Шли молча. Ира спросила нерешительно:

– Случилось что, или родами?..

– Катерина-то? Не, она легко рожала. Трое у них с Терехой было, два мальчика и девонька, ма-а-ахонькая совсем.

«С кем же он детей оставляет?» – чуть не спросила Ирина, но запнулась о прошедшее время.

– Славная девчушка была, – продолжала Поля, – Тереха в ней души не чаял. Все на руках ее носил, уже когда все лежали, встать не могли. Мальчишки первые померли, потом Катя, а девонька последней. Так у Терехи на руках и отошла, точно уснула.

– Отчего... они все?

Женщина не обернулась, только шаг замедлила:

– С голоду. – И снова пошла быстрее, что было очень кстати, ибо лица собеседницы не видела.

Ира сама видела немного, потому что Полина спина вдруг раздвоилась, а вскоре несколько Поль то расходились веером, то сливались опять в одну, пока наконец эта одна не распахнула дверь сарая, кивнув походя на домишко рядом: «Тут я живу».

Темновато, как и во всяком сарае. В углу сутулятся мешки с картошкой – недавно копала. Сено под ногами, как и в любом другом сарае. Поля подняла зачем-то небольшой пучок, медленно обтерла руки и сдернула пустой мешок с того, что можно увидеть отнюдь не в каждом сарае. Точно такая же швейная машина стояла у Иры дома, в простенке между окнами, и солнце падало прямо на сверкающую педаль, где было вытиснено «Singer» с пузатой заглавной буквой.

Приводной ремень цел; головка в порядке – ржавчины, как она опасалась, нет, слава Богу. В выдвижном ящичке обнаружилось сокровища, которые не снились ни одному соискателю богатства из «Тысячи и одной ночи». Наверное, потому, что их фантазия не простиралась дальше парчового халата и хрустального дворца, а настоящий клад – иголки разного роста и упитанности, катушки ниток, похожие на приземистые бочонки, фирменная жестянка с надписью «Singer» на крышке и гремящими детальками внутри – настоящий клад покоился именно здесь, и он делал вполне реальным если не хрустальный дворец, то уж парчовый халат наверняка, найдись в деревне Михайловка парча.

Парча не парча, но та же бумагея у кого-то нашлась. Заказы приносили по большей части на перешивку старья для подрастающих детей; если новое, то почти всегда «кофту», редко другое. Расплачивались пшеном, картошкой; иногда молоком. Случалось, приносили твердое сало в тряпке, на котором густо, как иней, блестела соль. Шить нужно было только для местных (у эвакуированных были другие заботы), хотя понятие «местные», как выяснилось позже, оказалось весьма относительным. А пока Ирина каждую ночь проводила в «Заготзерне», оказавшемся не чем иным, как огромным амбаром, где хранилось зерно, – как в мешках, так и просто ссыпанным в кучи. Ей выдали ватник. Поначалу она стеснялась его громоздкости и неуклюжести; потом оценила. Выдали и сапоги с чьей-то ноги, которые послужили им всем славно: днем Левочка в них бегал в школу, а Тайка донашивала материнские городские туфли. Когда настали холода, ватник тоже пригодился всем троим, а ночью им накрывались, и он лежал, как большая неуклюжая птица, заботливо распластавшая крылья у них на ногах.

Дневное время просачивалось сквозь пальцы быстро и незаметно, как осенний полдень: хозяйство и шитье, да темнеет рано, хоть швейную машину поставили у самого окна. Долше всего пришлось повозиться с Полиным драпом. Она охотно прибежала «на примерку». Присаживалась на край лавки, уважительно наблюдала за работой и рассказывала, как ребятишки ждут «бабкиного письма», будто сама не ждала. У нее было румяное лицо, плотно сбита фигура с очень короткой шеей и обветренные, в трещинах, руки. На первый взгляд она казалась не старше тридцати, но стоило ей, засмеявшись, прикрыть грубой короткопалой ладонью рот, где не хватало нескольких зубов, волей-неволей приходилось прибавить, хотя как понять, после ошибки с Михайлихой?

Поля приносила новости: кто получил письмо с фронта, откуда еще появились беженцы. Опять с Украины, еврейская семья. Спросила с любопытством:

– А там, где вы жили, тоже евреи есть?

– Есть. У меня подруга была, в двадцатом году в Палестину уехала. У нее и машина швейная такая же была.

Гостья молчала долго и сосредоточенно, однако чем было вызвано ее молчание, Ирина не знала. Чтобы разбавить паузу, спросила:

– Ты зачем такую вещь в сарае держишь? Пропадет!

Ответ прозвучал странно:

– Так ведь кто что хватал. Думали: вдруг отдавать придется, ну, так прятали. Только-только свое пристроили, а тут вона сколько добра!

– Где?

– Да тут, в Михайловке этой. И рядом то же самое – что в Золотове, что в Березовке: мебель побросали, скотину оставили, посуды – уйма! Что только...

– Кто бросал?!

– Немчура, кто еще.

– Немцы?! – Ира была уверена, что ослышалась.

– Ну да. Тут же республика ихняя была, с царских еще времен; мне тятка рассказывал. Только республика советская стала; советских немцев, не с Германии. А как война началась, они сразу давай вредить, где только можно. Тогда солдат прислали...

– Красноармейцев?

– Так я ж и говорю!.. Всех вредителей да шпионов, немчуру эту, посажали в вагоны – и вон отсюда, чтоб духу ихнего...

– Куда?

– Кто знает, – Поля пожала плечами, – люди говорили, кого в Сибирь, кого... куда. Да ты, если не веришь, у немки спроси.

– У какой немки?

– В школе работает. У ей matka была из ихних, из немцев, да померла; а сама вышла за русского. Петр Михайлович в школе директором был; сейчас на фронте. А ее так все и зовут: Немка.

Ирина машинально отметила еще одно имя с принадлежностью к Михайловке, а Поля продолжала:

– ...нам так и сказали, уполномоченный приехал: хотите – живите, места хватает. Самито мы, – спохватилась она и снова прикрыла рукой в улыбке рот, – самито мы с Водопьяновки, Усть-Подольского района. Русские мы. И Тереха-председатель, и Нюра – у ей как раз двойня родилась, муж на фронте, и...

– Но Михайлиха-то, хозяйка наша, местная?

– Не! – жесткая ладошка досадливо шлепнула по машине, – что Михайлиха твоя, что сестра ейная – обои с Водопьяновки. Какая она тебе хозяйка? Сама избу эту заняла, а жить не живет. Она себе часы взяла – во-о-от такие, – Поля показала коротенькой ручкой, привстав с лавки, – поставила к сестры в амбар. Красиво бьют, со звоном, – добавила с завистью.

Руки привычно скалывали булавками толстый материал, а в голове царил совершенный сумбур. У Тайки надо спросить: может, им в школе рассказывали. Этой бабе тоже верить нельзя – говорит же, что пришли на все готовое. И ведь не гнал никто, могли дома оставаться. Сами себя эвакуировали? Мы-то всё бросили, как те. Поля вон хозяйке позавидовала, а пальто драповое откуда? Сама, небось, кроме бязи, и не видала ничего. И сразу же ощутила неловкость: да мне какое дело? Принесли – перешиваю. Спасибо, машина есть.

Краденая.

Да нет, сомневалась она. Как можно всех людей вывезти, вон нас-то Коля с трудом в эшелон посадил? И откуда *здесь* немцы – немцы в Германии?..

В этом заключался один из абсурдов войны: из Германии наступали немцы и теснили Красную Армию на восток, в то время как Красная Армия безжалостно теснила и гнала немцев – только других, советских немцев с Поволжья, – тоже на восток: в Сибирь, в Казахстан. Для одних это называлось «Drang nach Osten», для других – Великая Отечественная война.

В школе рассказывали не об этом, а о шпионах и диверсантах, которые были бдительно выявлены и обезврежены, а также о вредителях, затаившихся в тылу, чтобы делать свое черное дело.

...В первую зиму они еще не голодали, только недоедали, в основном сама Ирина. За ночные дежурства ей не платили ничего – и никому не платили ни за какую работу, а только записывали, кому и сколько заплатят осенью. Это называлось *трудодни*. Ира представляла трудодни чем-то вроде карточек, которые уже ввели на хлеб, крупу и постное масло. Других продуктов попросту не было, даже если бы нашлось чем заплатить.

Как-то в воскресенье удалось проведать Надю: вездесущая Поля как раз ехала в Балашовку и подвезла ее на телеге. Своим новым драповым пальто она очень гордилась и была похожа в нем на невысокий гранитный столбик, какие украшали набережную там, в самом лучшем городе на свете.

От Андрюши тоже писем не было. В доме было тепло и пахло едой. Невестка засуетилась, застрекотала часто-часто и, убедившись, что Поля отъехала, начала вполголоса жаловаться на

колхозные порядки, приговаривая: «Не диво, что мерли с голодухи». Работала она в коровьем хлеву, много и тяжело. Деревенский труд был ей не в новинку: выросла у отца на хуторе, с коровами управляться умела и как раз поэтому пришла в ужас от того, как содержится скот, хотя бы и казенный. Ужас, понятно, ничем не выдала, а что ребятишек брала с собой, так не оставлять же одних дома! А самое главное: где коровы, там и молоко. Последнего, впрочем, и объяснять не было необходимости: все трое, слава Богу, выглядели румяными и здоровыми. «Вся работа – коту под хвост, всё – задарма, за трудодни эти!» – зло шептала Надя. Предложила золовке чаю, но Ирина отказалась: не хочу Полю задерживать, а то обратно пешком идти.

Дело было вовсе не в Поле, а просто она была слишком голодна, чтобы угощаться в сытом доме, и боялась, что Надежда заметит это.

А ведь тогда голода еще не было; он пришел через год.

Не было и писем – ни с фронта, ни из дому. Наступил октябрь, а война не кончалась. Иногда казалось, что они всегда будут жить в деревне Михайловка Подлесного района, как она и писала на конвертах и почтовых карточках. Первым состоялось, наконец, то главное письмо, которое начала писать еще в поезде. Конечно, какие-то слова потерялись, другие пожелтели, как осенняя трава, и больше не казались убедительными и единственно правильными; но нашлись другие, очень нужные для разговора, начатого 25-го июня, – самого трудного, смятенного и путаного их разговора, который она вела до сих пор.

Теперь можно было ждать ответа.

Привыкая к новому быту, а вернее – к иному бытию, продолжала писать Коле обо всем. Не дождавшись ответа, написала еще одно, и еще; а потом что-то произошло, словно долгий сквозняк прошел по волосам, и она поняла: Коля уехал. На фронт послали или сам ушел, неизвестно, но дома его не было. Квартира стояла запертая. Цветы стойко держались за сухую, растрескавшуюся землю – не столько в надежде высосать хоть каплю воды, которой там не было, сколько по привычке. Осенний луч неохотно прорезывал густеющую пыль. Коля уехал – или его увезли, потому что она вдруг перестала слышать его голос, как привыкла за всю их жизнь, и не могла представить, что может стать иначе.

Другие, счастливые, получали письма с фронта – сероватые, залохматившиеся треугольники: полевая почта. Если Коля на фронте, уговаривала она себя, то и нам такой придет.

Картофельные очистки бережно собирали и добавляли в затируху, а то пекли лепешки – темные, тонкие и восхитительно вкусные. Изредка по карточкам выдавали яичный порошок, который Ира щепотками добавляла в затируху.

– Вкуснятина будет! – обрадовался Левочка и вдруг бросился к матери, обнял крепко-крепко и уткнулся лицом в живот. – Mamочка, прости нас с Тайкой! Ты нам супчик оставляла, а мы не ели... мы в помойку его выливали. Ты прости нас, мамочка!

Мальчик крепко прижимался к ней лицом, и не надо было его отрывать. Стояла, беспомощно приподняв руки, потом взглянула на дочь. Та сидела очень прямо и смотрела в угол, а по лицу текли слезы.

– Зачем?.. – зачем-то спросила Ира.

– Потому что мы не хотели кушать! – Сын поднял мокрое лицо. – Представляешь? Мы *кушать* не хотели!..

– У нас было слишком много еды, – всхлипнула Тайка.

Теперь стало слишком мало.

Продуктовый магазин, где отоваривали карточки, находился в районном центре. Хорошо, если можно было подсесть к кому-то на телегу: пешком идти три километра становилось все трудней, только голод и подгонял. Именно в этих походах-поездках, а затем в очереди мало-помалу познакомилась с другими эвакуированными.

Медсестра Бася Савельевна из Ленинграда сразу расположила к себе именем, словно подруга юности Басенька привет передала, – приветливо улыбнулась Ире: «Мы же соседями

были, в одном море купались!» Две сестры, Гута и Ада, как и акушерка Сара, попали сюда с Украины. Пожилая учительница физики Блюма Борисовна начала рассказывать, как добиралась с мужем из Ленинграда, их долго где-то держали, а больше ничего не смогла рассказать: расплакалась. Маня с братом-подростком Феликом и мужем Зайднером (Ирина так и не поняла, это фамилия или имя) бежали из Гомеля. Фелик переживал, что его не берут на фронт. Зайднера тоже не брали, но он не переживал, а стыдился, как стыдился и своей беспомощности: хоть стекла в очках у него были толще некуда, Маня всегда водила его за руку. Поля уверяла, что Зайднер «зачитал» свои глаза, но читать не бросил, только теперь без увеличительного стекла не справляется. Когда Зайднера спрашивали, где он работал, он отвечал всегда одинаково: «Я занимался чистой математикой». Маня поясняла, что это наука такая.

Остальные считали это чудачеством полуслепого, ибо все были заняты математикой грубой, или, говоря на языке Зайднера, «грязной»: как растянуть недельную норму хлеба на всю неделю? Ирина как работающая получала 400 граммов в день; дети, по иждивенческой карточке, 200 граммов каждый. Итого 800 граммов хлеба. Казалось бы, разве мало? Ведь дома, до войны, килограммовой буханки на пару дней хватало, размышляла она на обратном пути, стараясь не вспоминать, что тогда и что-то кроме хлеба было, только бы не перечислять, что именно: хватит того, что ночами снилось, как медленно кладет жаркое в нагретую тарелку или режет курицу, а на столе поднимается парок от густого ароматного супа. Такие ненасытные и ненасыщающие сны изводили хуже самого голода, сны, полные хлеба: круглого, с толстой пузырчатой коркой, припудренной мукой, длинных золотистых французских булок, аккуратных кирпичиков черного – плотного, с изюмом и тмином.

Хлеб, который получала по карточкам, ни видом, ни вкусом не напоминал буйство хлебных снов. Он был липким и тяжелым, неизменно влажным внутри от примеси гороха, а на срезе продернут какой-то шелухой, похожей на рубленую солому. Поля объяснила: отруби. Ирина, городской человек, смутно представляла себе отруби как что-то *отрубленное* и относящееся скорее к мясной лавке, чем к пекарне. Оказалось, где зерна, там и отруби; раньше скотину откармливали, а теперь хлеб пекут.

А вкуса он был – божественного.

Теперь, когда шептала слова Вечной молитвы: «...Хлеб наш насущный даждь нам днесь...», видела только этот хлеб, больше похожий на глину. Так что? Не из глины ли создан Творцом человек?..

За три километра дороги нужно было мысленно разделить 800 граммов на три порции. Дополнительное условие: двое иждивенцев нуждаются в усиленном питании, ибо они – дети. Чистая математика.

Она сильно исхудала; при ходьбе кружилась голова. Зоркая Поля протянула махорочную папиросу: «Дерни, а то совсем свалишься». В деревне курили почти все. Свою норму махорки Ирина поначалу обменивала на сахарин, но сахарин привозили все реже, а махорочный дым странным образом насыщал: во рту появлялся резкий, вяжущий вкус, и не так отчаянно хотелось есть. Махорка помогала и ночью, когда она много раз обходила вокруг зернового амбара: не затем, чтобы поймать злоумышленника, а – согреться. Да и что бы Ирина делала, случись ей и впрямь наткнуться на вора? Председатель велел, к ее ужасу, ходить с винтовкой, но теперь она с трудом эту винтовку поднимала, а заходя внутрь, ставила между мешками, и сама устраивалась рядом. Надо было убедить себя, что согрелась, а потом выйти в ночной холод и снова обойти амбар. Можно было растереть онемевшие пальцы и скрутить папиросу. Насытившись, вернее, обманув желудок табаком, сидела, мысленно разговаривая с Колей.

Он не отзывался.

Время от времени заходил председатель, с одной и той же фразой: «Проведать зашел. Живая, что ли?» Присаживался поодаль, моргал, закуривал.

Как-то появился уже за полночь. Бросил взгляд на винтовку, на сторожиху и крикнул громко:

– Не спи! Замерзнешь. Ходи, ходи больше!

– Силы нету, – призналась Ира, расправляя затекшие ноги.

Сразу стало зябко. Она начала сворачивать застывшими пальцами самокрутку; руки дрожали. Председатель подошел к двери, оглянулся внимательно, потом вернулся и быстро развязал ближайший мешок. Ирина окаменела, а он черпал аккуратными горстями драгоценное зерно и, отпихивая ее дрожащие руки, сыпал ей прямо в карманы ватника. Она пыталась что-то сказать, но своего голоса не слышала, а слышала громкий, яростный шепот:

– Дура! Дура ты несчастная, ты счастья своего не знаешь! Ты не знаешь, как с голоду помереть можно?! Сама помрешь – ладно; а о детях ты подумала?! Как дети начинают пухнуть, не знаешь?! А я – знаю!.. Знаю! – И с каждым «знаю!» со злостью упихивал кулаками тяжелое выливающееся зерно. – Я знаю: ты сама ни в жизнь не возьмешь, помрешь, а не возьмешь; я не тебе – я детям твоим даю, дура ты эвакуированная, как есть дура!..

Председатель Терентий Петрович Овчинников, он же Терёха Моргатый, в ту ночь совершил государственное преступление – хищение социалистической собственности – не то что в «особо крупных», а – в соответствии с законами военного времени – в астрономических размерах, и по тем же законам мог быть расстрелян многожды.

Как знать, может, то украденное зерно и спасло им жизнь лютой зимой сорок второго года.

Дети об этом не знали – и не узнали никогда.

3

Чем измеряется жизнь человека? Успехами и неудачами, болезнями, надеждами и разочарованиями; сменой власти; покупками; влюбленностями, детьми, встречами и разлуками; неприятностями; переездами с квартиры на квартиру, находками и утратами; ссорами, изношенными туфлями, прочитанными книгами, праздниками, войнами... Письмами, полученными и написанными, но так и не отправленными; любимыми игрушками, юбилеями и смертями, разбитой посудой, исписанными блокнотами, хлебными карточками... да мало ли что еще может быть перечислено в списке, где только две абсолютных величины: смерть и война. Для удобства, а также объективности жизнь измеряется временем: повешен на стенку новый календарь, отогнут очередной глянецовый лист, и сентябрь плотно прильнул к августу. Теперь понедельники передают все сплетни своим поделщикам-понедельникам, вторники и четверги шелестят в затылки своим августовским тезкам, да только что тем в грянувших событиях, коих они, августовские, не дождались?!

Объективность времени сомнительна. В детстве между двумя днями рождения простирается вечность. Когда ты юн, о времени не думаешь – оно безраздельно принадлежит тебе. Не то в старости. Хоть время становится пожилым и почтенным, впереди его так же мало, как трешек в кошельке до пенсии, зато все, что прожито, – твое состояние, а это целый капитал, который позволяет жить на проценты... Время разветвляется прихотливыми тропками воспоминаний, и у каждой – свое собственное время, которое, в свою очередь, может быть растянуто почти до полной безразмерности, так оно послушно.

Совсем недавно по телевизору показали кусочек старого фильма. Маленький человек в мешковатых штанах и щегольском котелке быстро-быстро шел вперевалку, помахивая тросточкой и глядя прямо на бабушку удивленными грустными глазами. Сколько фильмов пересмотрела она в молодости, и многие не один раз! На черно-белом экране подергивались в судорогах коварные ревнивцы и влюбленные, полицейские и несчастные простаки, кроткие цветочницы, высокомерные миллионеры, мерзавцы, обманутые красавицы... Верх искусства. Те, кто пришли вдвоем, украдкой поглядывали друг на друга в условной темноте кинозала и, обменявшись улыбками, снова поворачивались к экрану, а лица их мерцали, словно освещенные лунным светом.

Вот еще одна уловка времени: все фильмы, просмотренные в молодости, теперь словно слились в один, долгий и захватывающий, о чьей-то бесконечно далекой, прекрасной и недоступной жизни.

Большому портрету в овальной раме шестьдесят семь лет. Он висит под небольшим углом к стене, поэтому кажется, будто девушка чуть наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть себя спустя почти семьдесят лет: седые волосы, загорелое лицо, исчерченное морщинами, как гравюра, янтарную брошку на воротнике и ревматические пальцы на будильнике. Глаза на портрете смотрят прямо и внимательно; кажется, девушка вот-вот улыбнется. Должно быть, улыбнулась, когда фотограф окончил работу, но это ее секрет. Бабушка знает наизусть каждую черточку портрета и смотрит снисходительно на юное лицо, черные волосы, разделенные пробором, нитку жемчуга на черном платье, про которую только она помнит, что была невероятной длины, так что приходилось завязывать узлом. Подарок отца ей на восемнадцатилетие: 1919-й год, апрель.

...По всем законам жанра, не говоря уже о причудливых извивах памяти, отсюда должна была бы протянуться дорожка к жаркому ростовскому лету 14-го года, прорезав стрелой пышный тенистый сад, и остановиться у колонн пансиона, но на столике внезапно зазвенел будильник: второй, маленький; это он вчера ее разбудил и отправил к внучке в больницу. Сегодня ему звонить не полагалось: в больницу ехать бабушка не собиралась, однако вещи, долго живущие

с человеком, мало-помалу сами очеловечиваются и ведут себя в соответствии с обретенным характером, а зачастую и вообще выходят из повиновения. Или, наоборот, движения человеческих рук становятся более механическими, и непрошенный звон легко объясняется тем, что, заводя, она машинально вызвала к жизни звонок.

Как бы то ни было, фальшивая белая ночь подошла к концу. За стеной, в соседней комнате, послышался глухой стук упавшего диванного валика, привычный и неизбежный, как пень муэдзина на Востоке или звон Биг Бэна в Лондоне: последние сорок лет так начинался ее день. Он привычно озвучивался, и это напоминало оркестр перед началом концерта, когда музыканты настраивают инструменты, покашливают и тихонько переговариваются. Оркестр составляли льющаяся из крана вода, горловой звук раковины, шарканье половой тряпки, газовая горелка, загудевшая свирепю, как паяльная лампа, и тут же усмиренная в трепетную фиалку наступившим на нее кофейником; стук дверей на лестничной площадке; шипенье замерзшего масла, плывущего по сковородке, как фигурист по льду, и кудахтанье захлебывающегося чайника. Спешат трамваи, дрожат оконные стекла; одно утро похоже на другое, как два коробка спичек. Однако так было не всегда: неизменны разве что бодрый звон трамваев, вода, всегда холодная и необыкновенно вкусная, да звук упавшего валика. Бабушка помнит утреннюю суету с растопкой плиты. Помнит, как купила примус, затем керогаз; газовая плитка появилась намного позднее. Современник примуса, оранжевый эмалированный кофейник, жизнь вел спартанскую и ничего, кроме цикория, отродясь не пробовал; он даже представить себе не мог, что его сменит алюминиевая посуда шахматного силуэта с нелепой длинной ручкой. А сковородки в то время и вовсе скучали неделями, оживляясь изредка, чтобы поджарить картошку на постном масле...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.